

Владимир Крупин

И БУДЕМ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ

БРАТЯ СЛАВЯНЕ?

И где оно, это славянское триединство? В каких генных коридорах заблудилось? И было ли оно? Было! И лично я и мои сограждане жили при нём. И пели украинские песни и плясали гопак и белорусскую бульбу. И присоединяющийся к ним молдавский жок. Но, как сказал бы Тарас Бульба, «завелось подло в нашей земле», заползли змеи раздора в доверчиво распахнутые славянские души, позарились жадные до чужого добра паразиты капитала, зависть стала править умонастроениями общества. Пришла диктатура воровства во все пределы новоявленного СНГ.

Как шла обработка умов? Вначале анекдотики про сало в шоколаде. Пока пробавлялись ими, подкапывались вороги информации под основы истории. Переславской Рады не было, Полтавскую битву выиграла украинцы, русского языка не было, когда Киев был, на месте Москвы были болота. Сам я видел листовки конца 80-х – начала 90-х годов: «Москаль зъил твоё сало, москаль зъил твою пшеницу, москаль истопил твой уголь».

Это в листовке. А в жизни украинские олигархи держали в лапах всю сибирскую «нефтянку», то есть нефть и газ Сибири. Не отсюда ли выверенная жизнью пословица: «Где хохол прошёл, там двум евреям делать нечего».

А во всём были виноваты кормившие их русские. Разве не верна в этом случае пословица: «Не вспоивши, не вскормивши, врага не наживёшь».

Помню, меня изумила любимая украинцами песня о казаке Грицко. Он так любил «с сиром пироги», что, когда ему предложили отдать дивчину или поменять её на пироги, то (далее песня):

Казак Гришко заплакал:

– Вы, кляти вороги.

*Визмить соби дивчину,
виддайте пироги.*

Каково?

Если так долбили по макушкам ненавистью к русским взрослым и украинским детей десятки лет, что получилось? Взрослые пытались вразумлять молодёжь, но по ходу жизни сошли со сцены, а обработанная идеологией иждивенчества новая поросль обрадовалась возможности не себя винить в своих бедах, а Москву, москалей, вообще русских, которых, им внушали, никогда и не было.

А когда упала на Чернобыль звезда Полюнь, предсказанная в Апокалипсисе, не было ли это грозным знаком, призывом к единению славян. Ведь, во-первых, полюнь, это в переводе и есть чернобыль, во-вторых, случайно разве, что взрыв был на границе трёх республик. Тогда же украинские письменники мгновенно сочинили:

*Дожилися украинци:
ни в кишени, ни в ширинци:
п'ють горилку, кроют матом,
вот шо значит: русский атом.*

Помогало обработке умов и прошлое. Малороссия всегда виляла хвостом то перед польскими панамы, то перед турецкими султанами. То «волила под царя московского» и приклонилась к сильной России и сменившему её Советскому Союзу. Да и то с оглядкой. «Кум, – кричали с утра соседу, – яка ныне влада?». То есть чей портрет помещать на место икон: Ленина чи Петлюры?

Бытовала и притча: «Мамо, мамо, – зовёт дочка, – бис у хату лизе!» – «Нехай, дочка, абы не москаль». То есть к ним нечистая сила влезает, она им желаннее русских.

О, я хорошо знаю западэнцев, служил с ними три года в Советской армии. Народ службистый. За лычку мать родную не пожалеют. Завистливые, умеющие устраиваться. Где их искать? В каптёрке, в хлеборезке, в посыльных при штабе.

И самое последнее. Зеленский к русскому народу обратился, и заявляет: «Вы не увидите наши спины, вы увидите наши лица». Как раз спины-то мы уже и увидели. Чего ж организаторов

всех ваших войск и торговцев оружием – американцев – не зовёте в ряды ВСУ? Дяди Сэмы не дураки, им надо на войне наживаться, а самим воевать – дудки. Им важно славянскую кровь пролить, на чужом горбу в рай въехать. Они надеялись, но это же смешно, что Украина победит Россию. Ну, просыпайтесь, да поскорее, от сладких снов.

Восемь лет протекло издевательства над русскими на Донбассе и Луганщине, есть дети, закончившие школу в убежищах. Какое счастье, что Россия сейчас принимает их к себе. Переждать сроки возвращения захваченных земель, восстановления школ и жилищ.

Конечно, мы очень страдали эти восемь лет, очень. И сердились, и справедливо, на своё правительство и, что скрывать, и на президента. Но грянул час и мы (вспоминаю Пушкина) услышали «речь не мальчика, но мужа».

Я рад за свою Родину, своё великое Отечество. Несмотря на все мерзости горбачёво-ельцынского режима, всё воровство, продолжающееся доселе, Россия жива. Жива её жертвенность, готовность пострадать, перетерпеть, чтобы спасти родных по крови и вере людей. И, будем верить, стряхнёт она с себя, вытрясет как блох из шубы перхоть коррупции, заразу чужебесия, идиотское преклонение перед Западом.

Россия со Христом, у неё свой путь.

С нами Бог и все святые Его.

ПРЕДСКАЗАНИЕ ГОГОЛЯ И МЫ, ГРЕШНЫЕ

Читатели жестоки. Если им чем-то понравится новый писатель, то они уже только такого же продолжения ждут от него. Гоголь, появившись в печати, очень потешил своих, мгновенно появившихся, читателей. Свежесть темы, юмор, вкрапление в русскую речь украинизмов было встречено на ура. И молодой Гоголь сам с восторгом рассказывал, как наборщики смеялись, работая над «Вечерами на хуторе близ Диканьки», рассказами «пасичника». Но и «Ночь на Рождество», и «Майская ночь или утопленница», и «Пропавшая грамота», и «Страшная месть», даже и «Вий» – всё это были подступы к настоящему, созревающему душой Гоголю.

Любители, так сказать, южного цикла не воспринимали петербургских повестей, поклонники петербургских повестей

ругали итальянские работы. Вырастая, Гоголь разочаровывал читателей. Имя его было у всех на устах, но с тем только, чтобы ругать его как не оправдавшего ожиданий. Он и сам давал повод к такому отношению, постоянно говорил о малости своей, о том, что он ещё только собирается сказать своё слово.

Но ведь уже была и потрясающая своим обличением бездуховности «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», была и поэма супружеской любви «Старосветские помещики», но в первой увидели бытовую картинку, во второй забавную зарисовку о старичках.

«Ревизор». Ну что «Ревизор»? Сценически гениально, по мысли публицистично. Посмотрите нынешние развратные постановки «Ревизора», что это? О переживаниях Гоголя после постановки пьесы известно. И доселе «Ревизор» ставится как позорящее Россию действо на потеху той публике, к которой относятся слова Городничего: «Над кем смеётесь? Над собой смеётесь».

Второй том «Мёртвых душ» не по указанию отца Матфея Константиновского был превращен в пепел, это было сознательное решение мастера, который не хотел, чтобы Россию представляли по тем типам, которые выведены в первом томе. Но изобразительная сила великого таланта была такова, что даже и Плюшкин, и Ноздрёв, и Собакевич, не говоря уже о Коробочке, оказались такими живописными, что и их великодушная русская душа приняла за своих.

И зачем нам так долго топтаться у камина, в котором сгорели рукописи, да гадать на пепле от них. Сгорели, и что? И хорошо, что рукописи горят. Писателям вообще надо раз в пятилетку устраивать сожжение накопленного за столом мусора. Сжег сознательно, значит, так надо. Державин, пишет Николай Васильевич, сильно «повредил себе тем, что не сжег, по крайней мере, целой половины од своих».

А Тютчев? Собираясь в Россию, по ошибке спалил нужные рукописи. Утром стал переживать, но «воспоминание о пожаре Александрийской библиотеки меня утешило». И без библиотеки Иоанна Грозного как-то не вымерли. Однажды меня вразумила очень интеллигентная, много перестрадавшая старушка. Я ей

привозил книги и изумлялся, что она, при широте её ума, их не касается. «Миленький, зачем? Есть же Священное Писание».

Гоголь всегда давал возможность всяким интерпретаторам: тогдашним, большевистским, демократическим – показывать Русь заполненной нечистой силой, торгующей мёртвыми душами, пьющей, ворующей... Скажут: но было же, но и есть же такое. И взятки и не только борзыми щенками берут, и жёнятся на Агафьях по расчёту, но спросим: зачем тогда русская литература? Показать нам самих нас, как в зеркале? Хорошо. Обличить недостатки? Ещё лучше. И что дальше? Русская литература от «Слова о Законе и Благодати» была православной. А примерно с Алексея Михайловича начала уклоняться в обслуживание не души, а тела. Мысль о спасении души глохла в водевилях. Ещё держалась немецкая литература Гёте, Шиллера, Гердера, русская Ломоносова, Державина, Карамзина, Крылова, Пушкина, ещё читалась великая средневековая проза, но массовая мода поворачивала к Франции. И русским дамам и кавалерам веселее было читать о Солохе, да о галушках, да щекотать нервы Виём и утопленницами, нежели думать о том, что за всё свершенное на земле придётся дать ответ.

Мощь православной мысли во всю силу начала разворачиваться в «Тарасе Бульбе». Запорожцы являют миру исполнение евангельских слов о высочайшей в мире любви, о смерти «за други своя». Когда приходит известие о нападении татар на Сечь, казаки, осадившие Дубно, не могут все вместе кинуться спасать пленённых татарами. Ведь и в Дубно находятся полонённые казаки. И неважно, что сами они виновны в пленении, «курнули» лишнего, они – братья во Христе. Войско делится на две части, и обе части понимают, что прощаются навсегда. Но – и это никогда не понять не любящим и не понимающим Россию – мысль о неминуемой смерти не угнетает их, а вдохновляет. Спасти братьев – это долг. «Долг, – пишет Гоголь, – это святыня». Эту истину Андрий заменил страстью к полячке, а Янкель страстью к деньгам, и неизвестно, кто из этой парочки губительнее для России.

В главном труде жизни, в «Выбранных местах», который опять же был прямо освистан современниками, много говорится о высшем назначении писателя – быть проповедником. И,

прежде всего – православным. «Общаться со словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку».

А ключевое слово для Гоголя – любовь. Он объясняет это на примере поэта такого огромного таланта как Языков. Тогдашняя Россия знала наизусть: «Созови от стран далёких ты своих богатырей. Со степей, с равнин широких, с рек великих, с гор высоких, от осьми твоих морей». А дальше такую ноту Языков не вытянул. Почему? «Не силы оставили, не бедность таланта и мыслей, не болезни... другое его осилило: свет любви погаснул в душе его – вот почему примеркнул и свет поэзии».

Будем помнить гоголевский завет: «Если кто помыслит, чтобы сделаться лучше, то непременно встретится со Христом, увидевши ясно, как день, что без Христа нельзя сделаться лучшим, и, бросивши мою книгу, возьмёт в руки Евангелие».

Написано это для нас из 1847 года, из «прекрасного далёка», из Италии, и читается как главное завещание, наряду с завещанием похоронить, если не в церкви, то в церковной ограде. При всех трудностях перезахоронение всё-таки легче осуществить, чем бросить светские книги и взять в руки Евангелие. Но от того и нужны светские книги, чтобы привести нас к Евангелию. Другого назначения у них, особенно написанных на русском языке, быть не должно. Не то сейчас время, чтобы искать в литературе отдохновения, забвения, развлечения, щекотания нервов, сведения счётов...

И ждать скорого счастья для России не приходится. Даже и такой пророк, как Гоголь, ошибся в предсказании о русском человеке, сказавши, что он будет таким, как Пушкин лет через двести. Двести лет со дня предсказания прошло, пока Пушкиных не получилось. Но уже одно то утешительно, что русская литература жива. Дивное дело: гусиное перо сменило стальное, стальное было вытеснено шариком, шарик заменила кнопка... но живём же!

И будем жить дальше. Понимая, что в России всё новое обычно хуже старого.

ЯЗЫК ШОЛОХОВА – РЕНТГЕН ДУШИ НАРОДА

Что ни скажи о роли языка в художественной литературе, всё будет мало и приблизительно. Сам, дерзая писать, я забредал в его океанские воды и плескался в них. Но, видимо, только

у берега, ибо только то и понял, что познание языка, особенно русского, никогда и никем не закончится. Но нам досталась радость наслаждаться его живительными водами, которые текут из чистых родников русской классики.

В детстве меня мучила тайна, как это так: я читаю строчки слов, а вижу не их, а людей, природу, животных, дальние страны, слышу разговоры, даже запахи ощущаю. Как же так? Я поднимал книгу к окну, к лампе и глядел на просвет, полагая, что там, внутри этих строк, идёт жизнь, которую я узнал, бегают человечки, скачут лошади, гремят поезда, плывут пароходы.

В разговоре с Георгием Васильевичем Свиридовым я как-то сказал, что могу понять и живопись, и архитектуру, и всякие науки, но что музыка для меня недосягаема. «Что вы, – отвечал он, – музыка это так просто: слышу её, и записываю. Слово – вот тайна: словом всё создано, всё выражается словом. В нём всё».

И ещё одно я усвоил и исповедую: русский язык, на котором я прочитал бессчётное количество книг, только тому открывается, кто любит главного носителя этого языка – русского человека: сибиряка, архангелогородца, волгаря, уральца, жителей Центральной и Южной России. И, любя Михаила Шолохова, преклоняясь пред его талантом, ясно понимаю, что если бы русское казачество не было им воспето, мы бы, возможно, и не узнали бы его в его полноте.

А что помогло Шолохову быть Гомером, Нестором, летописцем своего народа? Конечно, прежде всего – язык. С первых строк «Тихого Дона» мы сразу видим, именно видим, Дон, Вёшенскую, Мелеховых, сенокос, рыбную ловлю... Вот Аксинья идёт за водой, вот шальной Гришка преграждает ей путь. Мы же не строчки читаем, мы настоящую жизнь постигаем. У нас сердце начинает болеть, когда показываются горести и печали казацких событий: мира, войны, революции, когда брат идёт на брата, когда уходят из жизни родные нам люди. Когда отпевают донские соловьи Наталью и Аксинью, и её дочку. Прощаемся с Нагульным и Давыдовым. И стоим рядом со Щукарём, полюбившимся нам, и вместе плачем у их могилы.

Язык Шолохова – это русский язык в его принадлежности к яркой своей разновидности – казачеству Дона. Язык Шергина,

Белова, Абрамова – север России, Астафьева, Распутина – Сибирь, Носова – коренная центральная Русь, Лихоносова – Кубань, Потанина – Южный Урал... Но все названные писатели, конечно, смиренно уступали первенство таланту великого Шолохова.

Вспоминаю и нападения на него. От того, кто хотел быть главным писателем судьбоносного XX-го века. Но таковое место было уготовано рабу Божию Михаилу.

Всем мы, русские, мешаем жить. Только что прочёл исследование казанского учёного, что русский язык – это язык тарбарский, с корнями тюркско-татарскими. В другой, московской публикации прежние бредни о шотландце Михаиле Юрьевиче и об эфиопе Александре Сергеевиче. Я мог бы согласиться, если бы в Шотландии был свой Лермонтов, а в Эфиопии Пушкин. Так ведь нет же! Дело в том, что они – дети русского языка. И никакой другой язык не смог бы вывести их на всесветную значимость, только русский. Он и язык общения душ и сердец, он и Богослужебный.

А уж взять несчастную Украину. Как пыжатыся их теперешние умы доказать, что Украина начало всех начал, что наш русский язык где-то на задворках, что они – умы, а мы – увы. Смешное дело: любое русское слово наизнанку вывернут, изуродуют и изобразят из него первородное. То есть, как угодно, лишь бы не по-москальски. Тенденциозность здесь очевидна, а где тенденция, там её недолговечность.

Вернёмся к языку Шолохова. В детстве меня навсегда пленили сказки Пушкина. Вот как это можно представить: «Из лазоревой дали показались корабли»? Тогда впервые узнал это изумительное слово «лазоревый». И позднее оно соединилось с образом лазоревой степи у Шолохова. И я как-то старался представить такую степь. Когда был в Вёшенской на столетии со дня рождения Шолохова, пытался выйти из станицы. Но Вёшенская оказалась такой огромной, что не выпустила из себя, до степи я не дошёл. Осталась она в воображении – цветущей голубизной, небесной распахнутостью и утренней свежестью. И шолоховский язык весь такой – лазоревый.

В совершенно потрясающей картине похорон любимой женщины, когда Григорий поднимает свои ослепшие от горя глаза,

он видит чёрное солнце. И сила шолоховского слова такова, что и мы видим это солнце. Мы уже понимаем, что Григорий идёт на смерть. Как и тогдашняя Россия. Но также мы знаем: воспрянет наше Отечество. Ещё жив его сын. Ещё мы живы.

Ибо не может погибнуть народ, говорящий на русском языке.

ПЕРО ЧАЙКИ

Виктора Лихоносова долгое время причисляли к подражателям Бунина, или Паустовского, или Пришвина. И Юрия Казакова считали его наставником. Все эти фамилии уважаемы, но миновали годы, выходили его книги, и становилось понятно: в России в середине XX века появился новый писатель Виктор Лихоносов. И без его этих книг представить русскую литературу невозможно: это писатель со своим голосом, своими героями, своей интонацией, манерой повествования, со своим строем фразы, и всё это подчиняющий главному – России, её истории, людям, природе.

Писательский стиль Лихоносова необыкновенен. Он особый, он какой-то лёгкий, мерцающий, летящий, он рисует картины, которые оживают у тебя в сознании, будто ты не книгу читаешь, а прямо в этой книге живёшь. Писатель раньше подолгу жил в посёлке Пересыпь на берегу Азовского моря, любил подолгу ходить по отмели и собирать уроненные чайками перья. И кажется, что проза его пишется именно этими пёрышками: чистой белизны, лёгкости, дающими ощущение полёта над пространством.

Рождённый в Сибири, на станции Топки, около Кемерово, затем он возростал в Новосибирске. Рос без отца, отец погиб в Великую Отечественную войну, и Виктор всегда помнил об отцовской мечте – вернуться из Сибири в места проживания предков. У Виктора было слабое здоровье, и врачи настоятельно советовали сменить климат. Именно поэтому он, окончив школу, выбрал для дальнейшей учёбы Краснодарский университет. И навсегда связал судьбу с Кубанью. Потом и матушку свою

Писатель Виктор Иванович Лихоносов (1936–2021) печатался на страницах журнала «Дон», входил в состав его редакционной коллегии.

любимую Татьяну Андреевну перевёз к себе. И в своё время похоронил её на Таманском кладбище.

И это была его судьба: и человеческая, и писательская. И счастье для Краснодара.

Но это сейчас легко говорить. А каково было пробиваться сквозь казацкое недоверие к сибиряку, чалдону: как это так, да кто он такой, чтобы кубанские казаки были героями его книг. Но он имел на это право, право дала ему любовь к истории России и казачества в особенности. И обострённое чувство справедливости: как же можно предать забвению историю этого края, который стал его второй и окончательной родиной.

Писатель, сибирский уроженец, явился защитником кубанского казачества, его певцом. «И пришли, и высадились в Тамани и на Ейской косе с войсковым скарбом и куском ржаного хлеба, протянули живые силы через всю заболоченную степь. Куда пришли?! Теперь чего только не брешут про казаков, но куда они пришли, на какие страдания?! Ничего, кроме неба, камышей и малярии?! Кто теперь это поймёт, кто им, дряхлым или погубленным смертью, посочувствует?».

Внешне в писательской биографии Лихоносова всё складывалось замечательно: тридцати лет ему не было, как рассказ «Брянские» сделал его знаменитым. А головокружительный успех повести «Осень в Тамани», повестей «Чалдонки», «Люблю тебя светло», романа «Когда же мы встретимся», что говорить!

Какой радостью напитывало чтение его книг, какой светлой, врачующей грустью обволакивало душу. Вот Тригорское, Михайловское, вот тропа меж ними. Вот учитель, сидящий на холме над Соростью. И ты сидишь рядом и не только видишь то, о чём написано, но и слышишь запахи и звуки Пушкиногорья.

И, казалось, многие удачи ждали автора на проторенном им пути воспевания человеческих судеб, но все эти замечательные работы – только подступы к главному труду сибиряка, к созданию художественного полотна «Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж».

И в предыдущих всё громче звучала тема России. Но в «Маленьком Париже» это стало основной нотой. Валентин Распутин сказал о романе: «Бесспорно, главный герой этого романа –

Память. Память как вечность и непрерывность человека, как постоянное движение из поколения в поколение духовного вещества. Нельзя жить на земле, не помня, чем жили здесь прежде, не зная о трудах, славе, присяге и искренних заблуждениях наших предков».

«Много меж черноморцев весёлых Гоголей, ничего не писавших, но не было Нестора», – сетует Лихоносов. Но и он не берёт на себя труд летописца: писатель – человек своего назначения, он взялся за более трудное дело, он воскрешает прошедшую эпоху в событиях, судьбах, красках.

Трагична судьба казачества, об этом мы знаем и начитаны. И о красных, и о белых. Но представить казаков только в страданиях, было бы несправедливо. Казаки – это простодушные, чистые сердцем люди, иногда просто дети, непосредственные и живые. И входят в наше сознание, в нашу жизнь новые люди, сохранившие свои жизни для нашего восприятия. Сила таланта прозаика такова, что мы просто воочию видим, как ездит по Екатеринодару ямщик Терёшка, как приворачивает к заведению неунывающего Баграта, понимаем сострадательную душу Манечки Толстопят, которая «даже комару, который её укусил, ножку перевязет», и как эта Манечка в своих чудом сохранившихся дневниках воскрешает события, тревоги и радости 1918-го года. Словно воочию видно, как мальчишки идут на защиту Кубани: «В учебных тужурках и пальто, с узелками ушли серьёзные гимназисты. Тысячи обывателей спрятались за их спинами. А день тёплый, солнечный. Мне как-то было не по себе, что детям придётся по необходимости стрелять и убивать. Что их ждало, что станет с их беззащитными родными?».

И как таинственна мадам В. А правдоискатель Лука Костогрыз со своими стихами: «Не знайте в жизни дней ненастья, цветите сердцем и душой, и пусть судьба цветами счастья вам посыпает пусть земной». И, конечно, хранитель казацких преданий Попсуйшапка с его рассказами о доле казацкой. И хитроватый атаман Бабыч. Да даже и Фосса, только мелькнувшего в повествовании, помним. А тоскливая парижская жизнь четы Бурсаков, вся наполненная мыслями о родине, и их возвращение. Всё настолько зримо, всё так озвучено, что ты невольно становишься в центр любого описываемого события. Мы соперееживаем

и гордимся теми, кто попадает на службу в царский конвойный полк, и вместе с ними ужасаемся кончине царской семьи. И представляем, как ходит и ходит молитвенница Анисья, нигде надолго не оставаясь, будто надеется перемерить своими ногами побольше пространства, чтобы помолиться за него Господу. Вот её слова: «Иду себе помаленьку да иду, а земелька-то позади остаётся, а глянешь вперёд – и впереди ещё много».

Этот роман – образец полифонического звучания самой жизни. Это не летопись, это реконструкция прошедшего времени, возрождение его для нас с вами.

В «Осени в Тамани» доморощенный летописец Юхим читает вслух свои записи и как только доходит до слов «Теперь Тамань уже не та», заливаясь слезами и дальше не может читать. Что говорить нам в XX веке: теперь не та уже вся Кубань.

Виктор Иванович создал книгу обращения к совести, к душе, затронул струны памяти, живущие в нас, они откликнулись, сделали нас чище и лучше.

«Мне не спится. Я выхожу во двор, прохожу мимо тёмных окон и иду по улице. Ночью, только ночью так пробуждается душа, так чувствуешь пространство и время, и соединяет тебя в странствии со всеми, кто был и есть, с домом и звёздами. Хочется поклониться всему: кладбищам, храмам, дебрям, горам и пустыням Востока, полям Европы и Сибири, лазурным берегам морей, хижинам, дворцам, пирамидам... Бесконечна дорога жизни, и не пересчитать всех книг о ней. Зачем ещё и я со своими листами? Душа моя выше моих слов – я теперь это вижу, перечитывая свою работу и вспоминая то, что неуловимыми знаками трепетало во мне. Теперь мне горько: так мало я выразил из того, что чувствовал. Иду и думаю: кому это нужно? Много ли я унесу с собой навсегда, как уносят все люди, что-то в душе своей созерцавшие и наутро никому ничего не сказавшие».

Это не роман, это песня.

Как с живыми, мы прощаемся и с Петром Толстопятом, и с Дементием Бурсаком и с Калерией Шкуропатской. И Олимпиаду Швыдкую будем помнить и жалеть. Будем помнить озорство, дерзость, безумные скачки, свидания и разлуки.

И звуки военных труб, и топот конницы, и залпы орудий, шум базаров, вокзальные крики – всё уносится к какому-то пределу.

«Ранней степью простучали на подводе какие-то люди и исчезли. Как всегда, как во веки вечные. Проехали, и нету их до сего дня...». А для нас всё стучат и стучат колёса этой подводы. И идёт, и идёт богомолка Анисья.

Очень ценны для нас и работы Виктора Лихоносова последних десятилетий. Это «Записки перед сном» и «Одинокие вечера в Пересыпи». Это именно лихоносовские работы: в них всегда говорит душа.

Виктор Иванович признаётся: «Я всю молодость свою прожил под звездой Шолохова». Конечно, свет шолоховской звезды освещает «Маленький Париж», и это так благотворно. А второй титан, влиявший на судьбу Лихоносова, это Твардовский. «Я обязан ему самой жизнью. Не успехам, не слабым огоньком имени, жизнью, жизнью!».

И главное признание: «Да я просто не выжил бы, литература спасла!».

А нам заповедано: много нами русской земельки перемеряно, но и остаётся ещё очень много.

г. Москва